

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев
Если жизнь не удастся тебе,
то тебе удастся смерть
Серия «Театральные очерки»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2806585

Аннотация

«Известно, как человек собирается в театр. Пьет чай, торопится, и если есть другие, то торопит и других. Потом одевается, быстро или кропотливо, в зависимости от пола; смотрит на свое отражение в зеркале и рассчитывает, какой эффект может произвести такая фигура на другие фигуры, которые в этот момент вертятся перед своими зеркалами и думают о том же. В этом мимолетном представлении себя частицей толпы уже есть намек на то, что ожидает его впереди, но только намек...»

Леонид Николаевич Андреев

Если жизнь не удастся тебе, то тебе удастся смерть

Известно, как человек собирается в театр. Пьет чай, торопится, и если есть другие, то торопит и других. Потом одевается, быстро или кропотливо, в зависимости от пола; смотрит на свое отражение в зеркале и рассчитывает, какой эффект может произвести такая фигура на другие фигуры, которые в этот момент вертятся перед своими зеркалами и думают о том же. В этом мимолетном представлении себя частицей толпы уже есть намек на то, что ожидает его впереди, но только намек. Пока еще он (или она) весь целиком принадлежит самому себе, есть нечто обособленное, мир, вокруг которого вертятся другие миры, составляя в целом своеобразную обывательскую систему. Таким остается он и на извозчике. Если времени впереди много, он совсем не думает о театре и всеми мыслями погружен в истекший день, размышляет о лишнем стакане чаю, который он мог бы выпить, но не выпил, о чем и жалеет; вспоминает о ссоре с сослуживцем, о том, что полотеры стащили со стола забытую мелочь; строит планы на будущий день и легонько кряхтит при мыс-

ли о деньгах. Снежок сыплется, полозья визжат, и тускло горят зимние фонари, раздвигая мутное пространство. Закутанный в шубу мир так далек сейчас от всех других миров, если, конечно, луна не примостилась рядом и не напоминает ему о вечных законах притяжения.

Но вот близок уже театр, вереницей тянутся сани, и лошадиные морды пускают пар над самым ухом, – начинается любопытный процесс превращения самодовлеющей особи в частицу чего-то громадного, загадочного, волнующего – толпы. Сотней закутанных фигур он торопливо вваливается в освещенный подъезд, от него берут билет, его раздевают и заномеровывают – и через минуту он уже затерян в шумном потоке таких же, как он, и вместе с ними покорно переливается от одной до другой стены фойе. Пока он был один, он был особенным, а тут он стал как и все, словно его, как яйцо, облупили от коры всех его индивидуальных особенностей и отношений. В слабейшей степени поддаются этому стадному чувству женщины, редко поднимающиеся до полного забвения разницы между носом своим и носиком Марьи Ивановны. По звонку занимает он свое место, одновременно с другими погружается во тьму и одновременно тысячами глаз устремляется к сцене, горячо гневаясь на упорных индивидуалистов, в темноте отыскивающих свои места. Получается с виду ровная масса, то загадочное, что есть толпа: один – и все, все – и один.

В середине акта я люблю иногда оглянуться на зрительную

залу. Мне чудится тогда, что тысячи зеркал обращены к сцене и каждое по-своему отражает происходящее; и больше, чем сама представляемая драма, меня интересуют те скрытые отражения ее, что проходят в головах и в каждой из них создают свою особенную, непохожую на другие драму. Отброшенный стадностью по ту сторону обывательщины, обрзанный ею по контурам души, изолированный от всего привычного, мелочного, злободневного, зритель точно приобретает новые чуткие уши и новые глаза, зоркие и острые. То, что дает драма, комбинируется с лично пережитым, продуманным и пережитым, и пусть все зрители плачут одновременно – каждый из них плачет о своем. На общем фоне драмы каждый набрасывает свои узоры – единое и отдельное, вечная загадка человеческих отношений.

Редкий фон создала гауптмановская драма «Михаил Крамер». От всего мелкого, преходящего, родящегося утром, чтобы к вечеру умереть, она подняла зрителя на те страшные высоты, где под таинственным небом в вечном молчании завязываются и разрешаются узлы человеческой жизни. Не Михаил Крамер и не сын его Арнольд были героями этой трагедии, – незримым героем ее было то, что нависало над ними обоими и с зловещею причудливостью рока стремления дало одному, а силу и гений другому, и, разделенные пропастью, бесплодными оказались оба. К самым тайникам жизни подвел Гауптман зрителя, и трагическим мраком повеяло оттуда, и холодом дохнула смерть, и в мучительную

загадку вырос человек – этот милый, скромный, столь обыкновенный и столь непостижимый в своей необыкновенности обыватель.

Кто из них главный: Михаил или Арнольд? И если Арнольд главный, то почему драма называется «Михаил Крамер», – вот вопросы, которыми задавались критики и которые я обойду почтительным молчанием профана. Мне совершенно безразлично, кто был главным и кто нет, и мне кажется, что Гауптман несколько не погрешил бы против своей драмы, назвав ее «Лиза Бенш». Ибо Лиза Бенш в системе человеческих отношений есть нечто столь же важное и серьезное, как и Михаил Крамер со своим несчастным сыном. И даже вопрос, кто из них важнее: гений и умственная исключительность или счастливая в своей неузвимости пошлость?

«Люди всегда добивают того, кто уже ранен природой», и в этом отношении они бывают иногда очень похожи на волков, которые растерзывают раненого товарища. Пока он здоров и зубы его крепки, его охотно принимают в компанию и рука об руку борются с общим врагом, но стоит ему упасть, чтобы самому превратиться в добычу или врага. И люди и волки поступают бессознательно, и у волков это выходит очень просто и наивно, а у людей замаскировывается словами и бесплодными чувствами сожаления и сострадания. Негодный к борьбе становится негодным и к жизни, ее синониму, и сколько бы сострадающих рук ни протяги-

валось к падающему, чтобы поддержать, они фатальным образом окажутся бессильны¹. И даже хуже: в намерении поддержать они, именно эти сострадающие руки, сильнее всех толкнут его в приуготованную яму.

Арнольд Крамер положительно не годился для жизни. Это – великан на глиняных ногах, и нужен был только ничтожный толчок со стороны, чтобы повалить его. Не будь, наконец, толчка, он сам, своею тяжестью, разрушил бы ничтожную опору и упал. Арнольд Крамер был негоден для самого себя и для людей, и совокупными усилиями любящих и ненавидящих он был своевременно уложен в гроб.

В душу горбатенького уродца, неумного и обыкновенного, запала искра гениальности и сожгла эту душу. И уродцы, и злые, и обыкновенные люди преспокойно живут на свете и имеют любящих жен и бывают счастливы, – таким же мог бы быть и Арнольд. Но он ощущал в себе гений; ибо гения нельзя не чувствовать, чуть ли не осязать, и, как засунутый в его душу фонарь, гений освещал все ее трещины, провалы и бездны. Быть счастливым, удовлетворенным Арнольд не мог. Непримиримой борьбой божеского и человеческо-

¹ *Негодный в борьбе становится негодным и к жизни... окажутся бессильны.* – В 1902 г. фототипия «Шерер, Наболиц и К№» в Москве выпустила серию почтовых открыток с портретами Андреева и факсимильными воспроизведениями цитат из его произведений. В 1909 г. в письме к Андрееву писатель Б. А. Лазаревский вспоминал, что видел в витрине книжного магазина в Чернигове открытку с «автографом на тему – всякая помощь человеку, у которого нет сил для борьбы, оказывается фатально ненужной или не достигает цели...». ЦГАЛИ, ф. II, оп. 1, ед. хр. 135).

го должен был терзаться его дух, пока не погибнет. Ужасающее одиночество и гибель – вот что было «написано на роду» Арнольду Крамеру. Пошляков, уродцев, тупиц он отталкивал от себя своею гениальностью, которую они чувствовали инстинктивно и ненавидели; людей буржуазно-нравственной складки, как его сестра, людей возвышенной мысли и морали, как его отец, он должен был отталкивать своею пошлостью и нравственным уродством. Только тот приобретает истинных друзей, кто является другом самому себе.

Когда Михаил Крамер уговаривает сына открыть свою душу, он стреляет на воздух. Пусть эти уговоры – не только формально выполненный долг отца по отношению к сыну, пусть они проникнуты настоящей горячей любовью, – они не могут дойти до ума и сердца Арнольда. Отец не понимает прелестей красного галстука, отец не понимает любви к такой пошлой особе, как Лиза Бенш, отец не понимает удовольствий кабачка, – как может понять Арнольд его? Любовь бесплодна между высоким и низким, весь жар земли не в состоянии сблизить полюсов, пропасть непреходима между Арнольдом и его отцом. И то, что Михаилом Крамером ощущается как любовь к сыну, как страстная жажда помочь ему, – Арнольдом фатально чувствуется как невыносимая назойливость, как травля. Любовь без понимания – дьявольски жестокая вещь, нечто вроде железных сапог испанской инквизиции.

Еще горячее любит Арнольда мать, и если отца Арнольд

боится всем страхом травимого добродетелью пошляка, то мать он презирает как неосуществившийся гений. С тем же чувством злобы и презрения относится он и к сестре и к Лахману, этим неважным образцам из довольно плохонькой прописи. А они его любят – тоже любят... со всеми аксессуарами инквизиционной любви. И разве он не чувствует того снисходительного пренебрежения, составляющего исподнее платье филистерской любви, с которым они, добродетельные и бесталанные, относятся к нему, неосуществившемуся гению.

А в кабачке, составляющем вторую половину жизни и души Арнольда, его не любят и травят попросту, без альтруистических затей. Он не умеет пить для веселья, как вся эта прелестная компания, он не умеет любить так, как принято любить в кабачке и на девяти десятых земной территории. Пройдись он с веселой песенкой по комнате, устрой небольшой скандалчик и скажи Лизе две-три пошлости, настоящих, хороших пошлости, – и он стал бы желательным и дорогим гостем, и Лиза наградила бы его в достаточном количестве знаками своего расположения. А он рад бы сделать все, да не умеет. Ему мешает проклятый гений, эта самая искра, которой не хватает его отцу.

И весь мир кажется сплошной карикатурой этому гениальному уродцу. В карикатуре изображает он самого себя, в карикатуре ему представляются посетители ресторанчика, и я не уверен, что его почтенный отец и остальные почтен-

ные люди не нашли и для себя соответствующего изображения. И эти карикатуры, набрасываемые на ресторанном столике, под крики: «Фриц, еще пива», должны быть чем-то чудовищным и жалким, смешным до слез, до отчаяния. Нелепые, уродливые, страшные тем намеком на правду, который в них существует.

Заключительная сцена в ресторане, когда за гениальным несчастливцем, растерзанным, потерявшимся от страха, гонятся с тростями и палками рассвирепевшие здоровеннейшие пошляки, – ужасна. Характер случайности теряется. Это не обыкновенная трактирная драка, это изгнание из жизни того, кто для жизни не годится, это ужасная и вместе с тем необходимая, неизбежная победа здоровой пошлости над больным гением. Если бы я был Арнольдом Крамером и рисовал карикатуры, я дополнил бы сцену преследования бегущими в хвосте толпы отцом, и сестрой, и матерью с криком: «Остановись, Арнольд, мы тебя поцелуем». Люди не понимают, что не всегда поцелуй есть поцелуй, а очень часто суковатая палка, – не понимают и не виноваты в этом.

«Если жизнь не удастся тебе, то удастся смерть», – говорит Ницше, и смерть удалась Арнольду великолепно. Он умер, и Михаил Крамер хвалит смерть. Плохи дела жизни, когда приходится хвалить смерть; разве иногда не действуют они заодно: и жизнь и смерть.

Арнольд нем и холоден; Арнольд умер и перестал будить страсти – и перед трупом его мучительной загадкой встает

для Михаила Крамера вопрос: зачем же жил этот человек? Религия – искусство, жрецом которого был Михаил Крамер – не дает ему ответа. Он чувствует величие смерти, он проникается сознанием, что и он и несчастный сын его были орудием каких-то надземных сил – и рушится созданный им храм искусства. И к небу протягивает руки Михаил Крамер, говоря:

– А что знал ты о цели жизни? Не стремился ты к земному раю. Не стремился познать и небо пасторов. Ни к тому, ни к другому, так к чему же... к чему же в конце концов?

Великая загадка – человек и его жизнь.